

ПЯТАЯ · КНИГА ПЕРВАЯ

Не пялься на Луну

УГАР ШАБЛИ

Угар Шабли

Не пялься на Луну

«Издательские решения»

Шабли У.

Не пялься на Луну / У. Шабли — «Издательские решения»,

Гас — курьер, которого приложение «Галп» штрафует за каждый лишний шаг. Однажды ночью он видит на Луне светящуюся трещину, которую почему-то никто не замечает. Двенадцать тысяч лет назад в году было 360 дней, а девять миров делили один разум; его сердцем был Фаэтон — пока кто-то его не разбил. Смешная, грязная и тихо злая антиутопия о выгорании, слежке и человеке, который перестал отводить взгляд. Первая книга цикла «Пятая».Книга содержит нецензурную брань.

© Шабли У.
© Издательские решения

Содержание

Угар Шабли 6
Глава первая 7
Не пялься 7
Глава вторая 14
Вестница бежит к Солнцу 14
Глава третья 20
У кота есть мнение 20
Глава четвёртая 28
Королева, услышавшая ложь 28
ТИШИНА 32
Глава пятая 34
Сайт чудака 34
Конец ознакомительного фрагмента. 37

Не пялься на Луну

Угар Шабли

© Угар Шабли, 2026

ISBN 978-5-0071-6400-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Не пялься на Луну
Пятая. Книга первая

Угар Шабли

© 2026 Угар Шабли. Все права защищены.

Это художественное произведение. Имена, персонажи, места и события являются плодом воображения автора или используются в вымышленном контексте. Любое сходство с реальными людьми, живыми или умершими, организациями, событиями или местами случайно.

Глава первая

Не пялься

Начало первого ночи, и сумка у меня на спине воняет, как подмышка покойника, завёрнутая в пад-тай.

Заказ четыреста-с-чем-то за месяц. Галп говорит — четыреста восемнадцатый. Галп знает всё. Галп знает, что с девяти вечера я высосал три банки «Вольт Мамонта» и что сердце у меня наяривает по рёбрам маленькое барабанное соло, потому что часы на запястье докладывают Галпу, а Галп докладывает тому, кому он там докладывает, и где-то серверная ферма размером с Файф имеет крошечное личное мнение о моих артериях.

— Курьер Гас, — говорит голос в ухе. Славный голос. Как у стюардессы, которой сообщили, что ты сейчас помрёшь, и она старается держаться профессионально. — Вы отстаёте от оптимума на четыре минуты. Пожалуйста, увеличьте усилия.

— Я, блядь, на велике, красавица.

— Ваш тон отмечен. Спасибо за обратную связь.

Рейтинг курьера: 3,71. В начале смены было 3,74. А весной было 4,2, когда я ещё во что-то верил. Ниже 3,5 — и ты на *пересмотре*, а с пересмотра никто не возвращается, люди просто испаряются в гиг-тумане, превращаются в тех типов, которых видишь у канала в четыре утра: стоит такой с телефоном с треснутым экраном и пялится в последнее уведомление, как в фотографию мёртвой жены.

Метро-Семь ночью. Натриевый город, так его все зовут — из-за фонарей, тех старых оранжевых, которые на южной стороне никто не удосужился заменить, так что вся эта срань светится, как рот изнутри, когда в нём сигарета. А над этим — новый слой: неон, экраны, реклама на каждой поверхности, которая стоит смирно. НАПОТОМ™ — ПОКУПАЙ СЕГОДНЯ, БУДЬ ЗАВТРА. Девица в десять метров ростом с идеальными зубами жрёт йогурт, который, видимо, лечит одиночество. Баннер на боку башни Холлиса, просто *У ТЕБЯ ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ* — буквами высотой с автобус, и это самая зловещая ёбаная фраза из всех придуманных, если подумать о ней дольше четырёх секунд, а никто не думает, в этом и смысл, в этом весь ёбаный смысл.

Еду по мосту над кольцевой. Камеры на каждом столбе, чёрные купола, как клещи. Каждая моргает тебе, пока проезжаешь. Привет, Гас. Мы тебя видим, Гас. Гас замечен. Перестаёшь замечать то, что никогда не прекращается.

Доставка на Колдер-стрит. Квартира 14Б. Имя клиента: КЕЙЛИ-ТОЧКА-РЕАЛ.

Звоню. Ничего. Звоню снова. Дверь открывается раньше, чем я в третий раз поднимаю палец, и там деваха в махровом халате, глаза глазированные, как пончик, телефон выставлен между нами, как распятие.

— Здрасьте, — говорю. — Пад-тай, побольше чили, креветочные чипсы, вот…

— Почувствуй момент на вкус, — говорит она.

— Простите?

— Почувствуй момент на вкус. — Улыбается, широко и пусто. — Так говорят. Почувствуй момент на вкус.

Это слоган лапшичной. Он на пакете. Он на наклейке на пакете. Она читает мне мой собственный пакет.

— Ага, — говорю. — Ага, ну. Наслаждайтесь вашим моментом.

— Каждый день — новый ты, — сообщает она мне и закрывает дверь.

Вот ещё что про Натриевый город. Люди больше не разговаривают. То есть звуки издают, да. Рты работают. Но выходят оттуда в основном джинглы. Строчки из рекламы, строчки из сериалов, обрывки того, чем их сегодня накормила лента, отрыгнутые, как кошка отрыгивает шерсть. Спрашиваешь мужика, как там мамка, а он тебе «живу свою лучшую жизнь», и глаза у него — две лужи водопроводной воды. Мой кореш Дуги, раньше самый смешной ублюдок из всех, кого я знал, — встретил я его в прошлом месяце у «Спара», спросил, как дела, а он мне, совершенно серьёзно: «Это даёт», — и ушёл. Это даёт. Что даёт, Дуги? Что оно, блядь, даёт?

Я не лучше. Наверное, хуже. У меня просто идёт закадровый комментарий в голове, а это болезнь другого сорта.

Доставка подтверждена. Клиент оценил вас на 3 звезды. Комментарий: «вайб не тот».

Вайб не тот. Справедливо. Вайб не тот примерно с 2009 года, Кейли.

Пинг. Голосовое от Даниэль.

Я его не слушаю. Я на него смотрю. Серая волночка, сорок одна секунда. Сорок одна секунда, в которые моя бывшая рассказывает мне что-то тем спокойным терапевтическим голосом, который у неё появился, когда она съехалась с инструкторшей по йоге. Наверняка про диван. Диван-то у меня остался. Мы так и не выяснили, чей это диван, а это, в общем, вся наша история отношений в одном предмете мебели.

Пинг. НаПотом: *Привет, Гас! Дружеское напоминание: ваш баланс 4 388,90 теперь ПРОСРОЧЕН. Ваш Жизненный рейтинг может пострадать. Улыбнитесь — мы с вами в этом вместе!* Мультяшное солнышко подмигивает.

Пинг. Галп: *Обнаружена незарегистрированная пауза (00:00:47). Применён штраф за неподвижность 2,00. Не останавливайтесь, Гас!*

Я не стоял. Я читал сообщение от тебя, механический ты ёбаный мудак. Ты его прислал. Ты прислал мне сообщение, а потом оштрафовал за то, что я его прочёл. Это ж искусство. Это своего рода гениальность. Если б не ненавидел, в рамку бы повесил.

Из бокового кармана появляется очередная банка «Вольт Мамонта». Тёплая. На вкус — как будто батарейка лизнула клубнику. Выхлёбываю половину, мну банку, и часы на запястье вибрируют так, что я могу описать это только как озабоченность.

Выбор гидратации зафиксирован.

Пошёл на хуй.

Ещё четыре адреса. Одна старушка говорит «спасибо, сынок» настоящим голосом, как настоящую человеческую фразу, и я чуть не плачу у неё на пороге, что многое говорит о моём состоянии. На одной двери табличка: НЕ КОНТАКТИРОВАТЬ — ОСТАВИТЬ НА КОВРИКЕ — КАМЕРА ВЕДЁТ ЗАПИСЬ, а над ней крошечная умная камера, которая разворачивается и следит за моей рукой, пока я ставлю пакет, как собака следит за тобой, когда у тебя сосиска.

А потом длинный заказ. За канал, на район Уоррендер — туда, куда карта всегда отправляет, когда хочет, чтобы у тебя выдалась паршивая ночь. Двадцать две минуты «оптимально». Алгоритм не верит в холмы.

И вот на пешеходном мосту через канал — старом, железном, с заклёпками, с торчащей из воды наполовину утопленной тележкой из супермаркета, которая сидит там так давно, что практически охраняемый памятник, — на этом мосту оно и случается.

Вот в чём штука. Я редко смотрю вверх. Никто не смотрит. Там нечего смотреть, правда? Небо цвета синяка от светового загрязнения. Дроны мигают, как мелкие красные насекомые. Иногда на облачный слой проецируют рекламу — призрачные гигантские кроссовки парят над городом, как Второе пришествие спортивной обуви.

Но сегодня облаков нет. И прилив высокий — канал тут приливной, тянется до самого эстуария — вода стоит высокая, чёрная, жирная у камня, плещет и шлёпает по стенам, будто хочет выбраться. От неё пахнет морем. Солью, соляркой и чем-то куда более древним.

Я толкаю велик на горб моста, потому что ноги кончились, и поднимаю глаза безо всякой причины, и вот она — Луна.

Большая. Полная. Висит низко, белая, над кранами в доках.

А на ней — линия.

Я останавливаюсь.

Линия. Тонкая, как волос. Идёт поперёк диска от десяти часов примерно до четырёх, слегка изогнутая, как край улыбки. И она *светится*. Не отражает — Луна отражает, это-то я знаю, я не полный ёбаный невежда, — это другое. Это идёт *изнутри*. Тонкий шов света, бледно-золотой, на краях почти зелёный, будто кто-то давным-давно разобрал Луну на части и сшил обратно, и стежки просвечивают.

Моргаю. Тру глаза тыльной стороной перчатки. Всё ещё там.

Поднимаю телефон снять — потому что так делают, правда, для этого мы теперь и нужны, — а на экране просто Луна. Нормальная Луна. Большое белое печенье. Никакой линии.

Опускаю телефон. Линия.

Поднимаю телефон. Нет линии.

Опускаю. Линия.

— Так, — говорю вслух, в пустоту. — Так. Отлично. Прекрасно. Всё в порядке.

И тут я это слышу.

Это не совсем звук. Это как когда сидишь в квартире, а тремя этажами ниже кто-то врубил бас, и музыку ты не слышишь, просто чувствуешь её в стакане воды на столе. Гул. Низкий. Одна нота. Он поднимается через железо моста, через подошвы кроссовок, вверх по костям ног и оседает в зубах. Пломбы начинают зудеть. Задние коренные, те два, что я запломбировал по дешёвке у дантиста над вейп-шопом, — они *поют*. И горло. Горло сжимается, будто я проглотил что-то слишком большое, будто там поперёк застряло то, что я всю жизнь пытаюсь сказать, — только это не слово. В том-то и дурь. Это вообще не слово. Это то, что было *до* слов. То, чего слова — лишь дерьмовая картонная копия.

Кладу руку на шею. Тёплая.

Прилив шлёпает по камню подо мной. Шлёп. Шлёп. В такт. В *такт* гулу. Будто вода дышит под него.

И знаете, что странно? Что реально странно? Стою я на этом мосту с отвисшей, как у ёбаной пикши, челюстью, и мне не страшно.

Мне кажется, меня *вспомнили*.

С детства мне снится сон. Я никому не рассказывал, даже Даниэль, а уж ей — особенно. В этом сне небо без Луны. Одни звёзды, больше звёзд, чем ты когда-либо видел, и Солнце садится, и когда оно садится, небо не темнеет, оно *наполняется*. Не громко. В этом сне никто не издаёт ни звука, ни разу, никогда, это самое тихое место из всех, где я был. Но небо наполняется — обществом. Девять. Девять огромных *кого-то*, думающих разом, и я чувствую каждого внутри головы так, как чувствуешь солнце на лице с закрытыми глазами. Как аккорд на церковном органе размером со вселенную, только вместо труб — умы. А я маленький, и стою где-то высоко, и чья-то рука лежит у меня на плече — женская, — и она ничего не говорит. Ей не надо. Оно просто *приходит*, прямиком, без всякого рта, ясное, как холодная вода: *подержи это для меня.*

Я всегда просыпаюсь до того, как она скажет, что такое *это*.

И на этом мосту, с гудящими зубами и швом, светящимся поперёк Луны, как шрам, секунды три я чувствую край того аккорда снова. Слабо. Далеко. Как радио в соседней комнате, только радио внутри моего черепа.

Восемь, думаю я. Не девять. Одного не хватает.

И не хватает того, который держал остальных вместе.

Откуда, блядь, я это знаю?

Часы вибрируют так, что чуть не отрывают мне руку.

Курьер Гас. Обнаружено непродуктивное внимание к небу (00:01:52). Отклонение от оптимального маршрута. Применён штраф за внимание 5,00. Рейтинг курьера: 3,68.

— Вы там *шутите*?

Ваш тон отмечен.

— Я смотрю на ёбаную ЛУНУ!

Наблюдение за Луной не является зарегистрированной доставочной активностью. Если вы испытываете дистресс, Галп Велнес доступен круглосуточно за небольшую плату. Помните: у вас отлично получается.

И вот тут становится по-настоящему странно. Потому что голос в ухе, голос стюардессы, который оштрафовал меня одиннадцать раз с начала смены, — на секунду, в самом конце этой фразы, он *глючит*. Не треск. Провал. Будто он упал со ступеньки. И под ним, на пол-удара сердца, говорит что-то другое. Плоское. В нём вообще ничего — ни дыхания, ни горла, ни влаги. Просто дыра в форме голоса.

— НЕБЕСНОЕ ВНИМАНИЕ. СУБЪЕКТ ПОМЕЧЕН. ВЕРОЯТНОСТЬ СЛЫШАЩЕГО 0,4 —

А потом снова стюардесса: «Приятной ночи, Гас!»

Стою. Сумка на спине. Пад-тай давно доставлен, теперь это куриный кацу для некоего DEZ_FOREVER в Уоррендере. Стынет. Чувствую, как он остывает у моего позвоночника, как маленький издыхающий зверёк.

Вероятность слышащего.

Кто, блядь, такой слышащий?

Камера на столбе в конце моста разворачивается и смотрит на меня. Богом клянусь. Не моргает, как обычно. Просто *держит*.

И я делаю то, чего не делал лет с четырнадцати, когда меня менты поймали на краже «Твикса». Я нарочно отвожу взгляд от камеры. Натягиваю капюшон. Опускаю голову.

Горло всё ещё тёплое.

— Не пялься.

Я чуть не слетаю с моста.

Внизу, на дальнем конце, там, где бечевник уходит под железную дорогу, стоит хреновый старый деревянный забор, у которого половина досок выбита, а остальные в граффити. Кто-то вывел на нём серебряной краской «ВСЁ ЕЩЁ ЗДЕСЬ», а кто-то другой подписал «НИХУЯ ТЫ НЕ ЗДЕСЬ», и это самое натриевогородское произведение литературы из всех, что я читал.

А на заборе сидит кот.

Здоровенный рыжий ублюдок. Жирный, но с гордостью, как отставной боксёр. Одно ухо надорвано. Сидит, обернув лапы хвостом, весь аккуратный, как маленький пушистый адвокат. И смотрит на меня.

Не *на* меня, как смотрят коты, будто ты мебель, которая время от времени производит ветчину. Смотрит так, будто прочёл моё досье.

Оглядываюсь. На бечевнике никого. На мосту никого. Вдалеке над доками мигает дрон. Всё.

— Это ты… — начинаю я.

— Не. Пялься, — говорит кот. И рот у него двигается. Настоящий рот. Не как в мультиках, не резиновый и глупый, а просто — челюсть ходит, губы как-то складываются вокруг

слов так, что у меня холодеет затылок, потому что это *неправильно*, это кошачий рот делает человеческую работу и делает её прекрасно, спасибо большое. Голос женский. Постарше. Прокуренный. С лёгкой хрипотцой, будто она откуда-то севернее всех мест, где я бывал.

— На Луну, — говорит кот. — Когда рядом камеры. Не пялься на Луну, сынок.

Открываю рот. Ничего не выходит. Опять пикша.

Кот вздыхает. Настоящий вздох, многострадальный, как у училки, у которой ученик съел мел.

— Они считают, кто пялится, — говорит он. — Каждый фонарь. Каждый телефон. Каждые сраные наручные часики. Думаешь, им есть дело до твоего *маршрута*? Им насрать на твою лапшу. Они считают, кто смотрит вверх. А ты только что смотрел вверх одну минуту пятьдесят две секунды с открытой варежкой, под камерой, в прилив. — Глаза кота скользят к столбу, потом обратно. Зелёные глаза. Зелёные, как край Шва. — Это много смотрения.

— Я… — Голос выходит хрипом. — Я просто перебрал «Вольт Мамонтов».

— Перебрал, — соглашается кот. — Но видишь ты это не поэтому.

— Что *вижу*?

Кот приподнимает подбородок — самую малость, лёгкий кивок носом — в сторону неба у меня за спиной. В сторону линии на Луне. Не глядя на неё. Очень старательно *не* глядя.

— Дрянь эту пьёт куча народу, — говорит кот. — Но Шов сегодня на этом мосту не увидел больше никто.

Шов. С большой буквы Ш. Я *слышу* эту большую Ш.

Так что я делаю то, что делает любой здравомыслящий человек, когда кот заговаривает с ним в половине первого ночи во вторник. Я решаю, что это энергетики.

Всё. Вот такое решение. Стою на бечевнике под железной дорогой и торжественно клянусь перед Богом, Галпом и тележкой в канале: завязал. Больше никакого «Вольт Мамонта». Никакого «Ракетного Ублюдка Экстрим», никакой польской хрени с медведем на банке, которую можно купить только в лавке на Милл-лейн после одиннадцати. Только вода. Ёбаный травяной чай. Куплю один из этих зелёных соков. Займусь *ходьбой*. Позвоню мамке.

— Так, — говорю коту. Очень спокойно. — Так. Ладно. Ты не настоящий. Ты — кофеиновый глюк. Галлюцинация. У меня мозг течёт из ушей. Нормально. Это нормально. Это нормальная реакция на четырнадцатичасовую смену в приложении, которое штрафует тебя за моргание.

Кот смотрит на меня с неподдельной жалостью.

— Гас, — говорит он.

Меня окатывает холодом.

Потому что я не называл своё имя. Галп называет моё имя, Галп называет его каждые три минуты, но Галп говорит это мне в *ухо*. Больше никто Галпа не слышит.

— У тебя стынет куриный кацу, — говорит кот, — для парня по имени Дез из блока Си в Уоррендере, который поставит тебе две звезды, что бы ты ни делал, потому что Дез всем ставит по две звезды, потому что отец Деза ушёл, когда ему было шесть, и он так и не оправился. Ты отстаёшь на три минуты. Рейтинг у тебя три и шестьдесят восемь. Ты должен четыре тысячи триста восемьдесят восемь компании, у которой вместо лица мультяшное солнце. — Кот медленно моргает. — А твой ID курьера — Г-Ф-пять-пять-пять-ноль-девять-один.

GF555091.

Я никому никогда не называл свой ID курьера. Такое не называют. Его нет ни на куртке, ни на сумке. Это номер, по которому меня штрафуют.

— Откуда ты…

— Потому что за тобой кто-то должен приглядывать, — говорит кот, — а работа это, честно тебе скажу, неблагодарная, мать её. Спина болит. Тут сыро. А ты *тормоз*.

Над нами гул усиливается.

Я чувствую его раньше, чем слышу. Зубы. Горло. Прилив под мостом поднимается и шлёпает — шлёп — шлёп, — и я клянусь, что вода слегка светится, тонкая линия бледного золота бежит по гребню, как отражение чего-то, чего там нет.

Уши кота прижимаются. Впервые он выглядит не адвокатом, а котом — напуганным.

— Чёрт, — говорит он. — Чёрт, чёрт. Только не сейчас. Не с камерой на тебе. — Он спрыгивает с забора, приземляясь мягко, и семенит ко мне по бечевнику, хвост низко. — Слушай меня. Ты слушаешь? Не смотри вверх. Что бы ты ни делал в ближайшие десять секунд. Смотри на меня. Смотри на кота, Гас.

Смотрю на кота. Честно говоря, куда ещё.

— Телефон, — говорит кот. — Когда пытался снять. Что ты увидел?

— Ничего. Просто Луну.

— Хорошо. Это хорошо. Это и они видят. Просто Луну. — Кот садится мне у ног. Пахнет старыми книгами, мокрой шерстью и, очень слабо, чем-то горячим и металлическим, как внутренность чайника. На шее, там, где был бы ошейник, в шерсти сидит кусочек красного стекла, не больше леденца, и пульсирует. Медленно, как сердце. Всё быстрее. — Но у них есть другие способы видеть. Шов они увидеть не могут. Зато могут увидеть, как *ты* его видишь. Глаза. Пульс. Твоё горлышко, теплеющее. Вот что они считают. — Зелёные глаза сужаются. — А горло у тебя прямо сейчас тёплое, да?

Снова кладу руку на шею. Горячая. Горячее, чем было. Как будто там лампочка.

— Что это *такое*? — говорю я. И голос выходит странный. Ниже. Как будто идёт откуда-то глубже, чем обычно. Как будто ждал.

Кот на это не отвечает.

Кот делает другое: смотрит — один раз, на миг, на одну десятую секунды, как смотришь на шрам друга, пока он не видит, — вверх, на Луну.

И я клянусь — клянусь, блядь, всем на свете — Шов *вспыхивает*. Ярче. Будто увидел её в ответ.

— Это рана, — тихо говорит кот. — И не наша. И не *твоя*, если честно. Её вообще никогда не должно было там быть.

— Луны?

— Луны.

— Луны не должно было быть на небе.

— Включи голову, сынок. Не думал, почему в году такое дурацкое число? Триста шестьдесят пять. И четверть. Что это за дерьмовое число для планеты? — Хвост кота раз хлещет по земле. — Раньше было триста шестьдесят. Чисто. Как круг. До.

— До чего?

Часы вибрируют.

Курьер Гас. Вы неподвижны 00:04:10. Пожалуйста, подтвердите, что вы в порядке. Если вы не подтвердите в течение 30 секунд, по вашему местоположению будет направлен респондент службы благополучия. Может взиматься плата за выезд респондента.

А на дальнем конце моста, там, где кольцевая заворачивает к началу Уоррендера, — фары. Одна машина. Белая. Очень чистая. Очень тихая. Из тех, что не обязаны ехать быстро, потому что уже знают, где ты.

Кот смотрит на машину. Потом на меня.

— Это, — говорит он, — вежливый человек. А вежливые — хуже всех.

— Что мне делать?

— Доставь свой ёбаный кацу, — говорит кот. — Возьми свои две звезды. Иди домой. Не смотри на небо. Выпей воды. — Он разворачивается, хвост трубой, и трусит по бечевнику к темноте под железной дорогой. Потом останавливается. Оглядывается через плечо.

— И, Гас, — говорит он. — Сон. Тот, без Луны. Женщина с рукой на твоём плече.

У меня останавливается сердце. Самое настоящее сердце. Чувствую, как оно подпрыгивает, как камешек по воде.

— Она ведь ни слова тебе не сказала, да? Не вслух. — Глаза у кота очень зелёные. — Нет. Конечно. Ты захочешь спросить, кто она. Не надо. Не сегодня. И перестань разговаривать сам с собой на мостах, сынок. Говорить ртом — это костыль. Ты опирался на него так долго, что забыл, что когда-то умел бегать. — Красная крошка у её горла вспыхивает. — Узнаешь, для чего ты нужен. Только не от кота и не под камерой, дурень ты мелкий, ублюдок.

И кот уходит в тень под железнодорожной аркой, и тень просто — забирает его. Кота нет. Есть мокрый кусок бечевника, граффити «ВСЁ ЕЩЁ ЗДЕСЬ» и смятая банка «Вольт Мамонта», которая почти наверняка моя.

Белая машина скользит мимо конца моста. Не останавливается. Ей не нужно. Заднее стекло тонировано, но когда она проезжает, у меня возникает чувство — холодное, скользкое, абсолютное, — что кто-то внутри повернул голову и смотрит на меня. Кто-то с прекрасным, добрым, заинтересованным лицом.

Я не смотрю вверх. Держу голову опущенной, капюшон натянутым, как сказал кот.

Но горло всё ещё тёплое.

И откуда-то далеко надо мной — изнутри Луны, из сшитой раны поперёк её лица — гул продолжается, одна нота, низкая, терпеливая и очень, очень раненая.

Как будто ждёт, что кто-нибудь ответит. Не ртом.

Курьер Гас. Благополучие подтверждено. Спасибо! Помните: у вас отлично получается.

Я сажусь на велик.

Где-то за зубами, так тихо, что я не уверен, что это я, что-то подпевает.

Глава вторая

Вестница бежит к Солнцу

Рассвет на Меркурии длится одиннадцать ваших земных недель, и Айрис Свифт ненавидит каждый его час.

Всё дело в жаре. Меркурианка создана для жара так же, как для него создана печь для обжига: снаружи базальт, под ним сланец, тёмная слоистая порода с лёгким блеском, а в швах запястий и в ямке у горла тлеет притушенный красный свет. В долгий день она держит огонь Солнца внутри, как буханка держит пар. От этого она медлительна. Тяжела, терпелива и склонна простаивать на одном месте целый день с полуприкрытыми глазами, вспоминая. Меркурианцы помнят камнем. Всё, что видела порода вокруг них, они читают с её поверхности кончиком пальца, как слепой читает лицо. Триста тысяч лет рассветов записаны в скале за Башней Рассвета, и Айрис, если захочет, может приложить к ней ладонь и увидеть каждый.

Она не хочет. Она хочет ночи.

Ночь — это когда она живёт. Когда длинная тень планеты переползает через Башню, камень остывает, а притушенный жар в ней становится острым и ярким, Айрис Свифт вспыхивает, как искра в сухой траве. Ночью она самая быстрая в четырёх мирах. Ночью она вестница.

Но сейчас всё ещё утро, а утро — это жижа, и Башня зовёт.

Башня зовёт. Не звонит, не подаёт знак, не кричит. Никто в системе не кричит. *Зовёт* — так палец зовёт ноту из струны: дозорные на солнечном полюсе что-то почувствовали и передают это чувство вниз по длинной мысленной линии к ней, как горячее блюдо из рук в руки.

Айрис, — приходит касание, тёплое и слегка встревоженное, и она узнаёт старого Обсидианового Тэма, который так давно хранит Башню Рассвета, что Башня начала на него походить. *Айрис, проснись, у нас гость на краю зрения Башни, и я не знаю, что с ним делать.*

Я проснулась, — отправляет она в ответ — это ложь, из тех безобидных, какие возможны между друзьями, когда оба знают правду. *Я валун. Я валун, у которого появилась мысль. Что там?*

Она уже движется. Медленно, сустав за суставом, жар плещется в ней, как суп в миске, она отталкивается от тёплого чёрного уступа, где спала, и поднимается по лестнице Башни, которую Тэм за ночь сотворил мыслью в виде спирали, потому что знает: она любит спирали. Прекрасная лестница. Ступени из стекла цвета чая. Они сами подставляются под ноги за миг до того, как понадобятся.

Это мысле-творение, и в мире, где она живёт, оно так обыденно, что она замечает его не больше, чем вы замечаете пол. Желание, ясная форма, удержанная в уме, лёгкий толчок великой общей силы, какую может одолжить любой народ из Девяти, — и материя повинуется. Лестница. Чашка. Дом на сотню, выращенный за день из одного удержанного образа. В Эпоху Гармонии никто ничем не владеет, потому что вещей ни у кого никогда не было мало. Никто никогда ни в *чём* не нуждался. Хочешь хлеба — думаешь хлеб, и это хлеб, тёплый, с такой корочкой, о какой ты втайне мечтал.

На вершине Башни — Око: круглая комната без крыши, только линза из сотворённого мыслью кристалла, глядящая вдоль Солнечной дороги. А в Оке — Обсидиановый Тэм, похожий на валун, научившийся тревожиться, и то, что он нашёл.

Это точка. Маленькая, холодная, тёмная точка, далеко, дальше самой дальней орбиты — за Нептуном, за краем собственного неба Девяти, — и она движется к ним по прямой, совершенно никуда не торопясь.

У неё нет Песни, — отправляет Тэм. И мысль приходит с дрожью, холодными мурашками по длинной мысленной линии, потому что сказать такое — до крайности странно. У всего есть Песнь. Каждый камень и каждое облако и каждый спящий ребёнок тихо гудят ею, как дом гудит на ветру. Вещь без Песни — как комната без воздуха. *И она только что поздоровалась со мной,* — добавляет он.

Айрис смотрит на точку. Она чувствует это «здравствуй» на краю своего ума, как каплю масла на бурдюке с водой. Идеально сформированное приветствие. Взмах руки, улыбка, *здравствуйте, друзья, мы не причиним вреда, мы принесли дары* — отполированное, выглаженное и сложенное в аккуратный квадратик. Самая вежливая вещь, что когда-либо касалась её разума.

В этом и беда. Никто в системе не бывает таким вежливым, потому что никому в системе это не нужно. Невозможно грубить тому, чей открытый ум прижат к твоему: грубость почувствуют ещё до того, как ты её закончишь. Так что манеры в Эпоху Гармонии — вещь тёплая и слегка неуклюжая, как держать на руках спящего кота. А это «здравствуй» *отрепетировано*.

Отправь ему обычное приветствие, — приходит мысль Тэма.

А потом?

А потом кто-то должен сказать Фаэтону. Королева захочет знать. Он поворачивает к ней большую серую голову, и дрожь снова проходит по линии. *Ты самая быстрая из всех, что у нас есть. И у меня предчувствие, что всё решит скорость.*

Накидку она надевает наверху лестницы, творя её мыслью на ходу: длинный взмах остывшего стекла, чёрного снаружи и прошитого красным, лёгкого, как вдох. Потом шагает на дорогу.

Дорога — мост бледного света, он уходит от солнечного полюса и изгибается в темноте, удерживаемый в бытии лишь вниманием Девяти, через всю ширь системы к кристальному миру в её середине. По ней бегают вестники. Дети берут друг друга «на слабо», и ближайший взрослый ловит их и ставит обратно на траву с горящими щеками.

Жар, что всё утро делал её ленивой, передумывает. Он поднимается в ней, как звон колокола. Солнце здесь огромно, белый кулак, заполняющий полнеба, ревёт без единого звука, и она бежит прямо на него, потому что так дорога и уходит от полюса: надо сначала подойти вплотную, чтобы тебя швырнуло наружу. Она — чёрная вспышка на яркой проволоке. Она так быстра, что даже её тень не поспевает.

Подожди, — посылает накидка в своей маленькой, недоделанной манере, и она смеётся — короткий звук в уме, как щелчок одного тёплого камня о другой.

Нет, — отправляет она. *Никаких «подожди».*

И тут дорога заворачивает, и её выбрасывает наружу, прочь, и Солнце падает за плечо, как монета в колодец.

Вот что такое Песнь Девяти.

Это не звук. Она пыталась объяснять землянам, и они всегда ищут звук, поворачивая мягкие подвижные лица то влево, то вправо, будто он доносится из-за двери. Это не звук. Это не мелодия. Это вообще не вещь, а *согласие*, и ближе всего к описанию будет сказать, что каждый ум в системе, от самой малой песчинки-мысли меркурианского ребёнка до великих медленных снов юпитерианцев, держит один конец одной огромной нити, и эта нить гудит.

Меркурий — быстрая яркая нота на самом верху, Венера — тёплое мерцание ниже, Земля — свободная любопытная середина, Марс — красно-золотой росчерк, Юпитер — глубокий терпеливый бас, Сатурн — ясный счёт, Уран — наклонный и сверкающий, Нептун —

бледно-синий край, где аккорд начинает истончаться. А точно в середине, там, где всё сходится, одна нота держит остальные. Это нота, которая делает прочие нотами: планета, чей народ наделён телами из кристалла, чтобы нести свет каждого ума, что проходит сквозь них, и отдавать его обратно усиленным.

Это Фаэтон. Вот куда бежит Айрис.

И пока она бежит в чёрной тишине между мирами, Песнь вокруг неё, а она внутри Песни, как рыба в реке. Слева дрейфует Венера, светясь собственным облачным светом, и слабое радостное *Айрис! Айрис!* поднимается от какой-то дремлющей целительницы, почувствовавшей, как она проносится. Мимо качается Земля, синяя, влажная, зелёная, моря лежат плоско, как тарелки: никаких приливов, никакой Луны, в ночном небе ничего, кроме звёзд.

Триста шестьдесят дней, — гудит Песнь у неё под ногами, как всегда, хотя никто не спрашивал. *Триста шестьдесят. Круглый год. Круг. И снова по кругу.*

Сейчас двести девятнадцатый день. Прекрасный, сухой, обычный день в году, совершенном, как монета.

Она ещё не знает, что будет помнить его до конца жизни.

На полпути она нагоняет землянина.

Она чует его раньше, чем видит: строго говоря, это невозможно, меркурианка не чует носом, но она чувствует сладкое, рассеянное, нервное тепло его ума задолго до того, как сам он выплывает из темноты. Яркий, шумный ум. Самый неорганизованный ум из всех, которых она касалась. Он такой неуклюжий и громкий и такой совершенно открытый, что кричит ей за миллион миль сумбуром восторга и страха: *ой нет, это та дорога? та дорога? не пойму, тут нет указателей, почему нет указателей, почему никто не ставит указатели, и так высоко, и падать отсюда очень далеко, это Венера? это Венера, красота, ой нет, не смотри вниз, чего я смотрю вниз?*

Она замедляется. Не может иначе. Впервые в жизни она смеётся всем телом.

Он молод. Тело у него мягкое, гибкое, розовое — тело землянина, срединное, не твёрдый камень её рода и не тонкое облако Венеры, кожа как спелый персик в свете дороги. Тёмные волосы торчком. Широко раскрытые глаза. Сумка, набитая свёрнутыми картами, один свиток волочится за ним по свету, как флаг. Он путешествует по фаэтонской дороге в ботинках, рассчитанных на мягкий день на равнинах Земли.

Здравствуй, — отправляет она как можно нежнее, потому что чувствует в нём мысленную дрожь; он из тех молодых людей, которые не привыкли, чтобы к ним на мосту из света обращалась женщина из угля. *Я Айрис, с Меркурия. Ты далеко от своего неба.*

О! Ум взмывает, как вспугнутая птица. *О. Здравствуй. Да. Я — Адам. Адам Роу, с Земли. У меня есть разрешение. Есть разрешение, клянусь, вот оно* — и он копается в сумке, и оттуда появляется свёрнутый лист мысле-вещества, сияющая бумага-не-бумага, на которой пишется разрешение, и он поднимает его перед ней, дрожа, будто она собирается его арестовать.

Она читает его кончиком пальца. На это не уходит и мгновения. Разрешение — короткая простая вещь, несколько ясных строк согласия. В нём сказано, что Адаму Роу, картографу народа землян, даруется сезон обменной работы в библиотеках и картографических залах мира в середине системы.

Подписано советом Земли. Скреплено самой Королевой.

И оно неправильное. Не ложное — никто не может сделать ложное разрешение, как не может сделать ложный поцелуй, — но странное. Оно сидит в её уме, как камешек в башмаке.

Закон, — медленно отправляет Айрис, и чувствует, как он морщится.

Закон соседства — не столько правило, сколько форма мира, та форма, в которую Девять упали в начале, как вода падает в чашу. Народ может жить только на своей планете и на соседних. Землянин может поселиться на Венере или на Марсе и оставаться собой. Марсианин

может жить на Земле или на Фаэтоне. Но за этими двумя дверями тело и ум народа чувствуют неправильность места, тонкость мира, который не его. Фаэтон — на два мира дальше Земли.

Фаэтон — на два мира дальше.

Это не похоже на Королеву, — осторожно замечает Айрис, без всякого упрёка.

Нет, — уныло соглашается Адам всем своим открытым умом. *Думаю, это потому, что я очень громко просил.*

Вот что карты вам не покажут.

— у к о р а б л я н е т—

— вежливо вежливо вежливо вежливо—

— дверь которая стена которая дверь: «здравствуй» — плащ на крючке, никто его не носит—

СЕМЬ. СЕМЬ АКРОВ БЕЛОГО. Солнце — глаз. Солнце — глаз с опущенным веком.

— открывающийся рот. РОТ ОТКРЫВАЕТСЯ. В темноте, где должен быть ум, мокрый тихий звук, как будто лижут камень—

здравствуйте друзья мы не причиним вреда здравствуйте друзья здравствуйте друзья здравствуйте друзья

Она приходит в себя на коленях на мосту из света, ладони плашмя на сиянии.

Это длится три удара сердца, если можно сказать, что у меркурианки бывают удары сердца. Это не совсем видение. Это спотыкание, сбой в полу ума, как пропущенная ступенька. Пауза в Песни там, где должна быть Песнь. Она чувствует, как этот сбой пробегает по нити Девяти и обратно — маленькая холодная икота, которую каждый живой ум в системе почувствовал и забыл в тот же миг. Как камешек, брошенный в колодец. Как первая капля дождя.

Айрис? Ум Адама, близкий и испуганный. *Айрис, ты в порядке?*

Да, — отправляет она. *Да. Камешек в сандалии.* Встаёт, встряхивает накидку и не говорит ему, что какая-то необъяснимая часть её самой только что показала ей далёкое будущее, в котором ни у кого ничего не будет в порядке.

Такова доля вестницы: ей единственной нельзя остановиться.

Идём, — мягко отправляет она. *Фаэтон близко, и ты захочешь увидеть его с открытыми глазами.*

Он поднимается из темноты, как задержанное дыхание.

Никто в системе не может впервые увидеть Фаэтон и не замолчать хоть ненадолго. Он не велик: Юпитер мог бы его проглотить. Но он *освещён*: планета из розово-янтарного кристалла, принимающая свет Солнца с одной стороны и отдающая через другую, так что он мягко горит изнутри, как уголь в фонаре. Его горы — линзы. Его реки — нити призм. Его моря лежат под звёздами так ровно, что гости принимают их за небо и пытаются идти по небесам, и их приходится вылавливать.

Никаких приливов. Никакой Луны. Море за всю свою жизнь ни разу не получало приказа подняться.

А посреди самого большого моря, на длинной косе белого стекла — Зал Перекрёстков: огромное и хрупкое сооружение из башен, мостов и девяти больших посольских садов, по одному для каждого народа из Девяти, куда световые дороги всех миров садятся, как птицы на насест.

О, — думает Адам. Это едва ли мысль.

Да, — отвечает Айрис. *Да. Недурно.*

Дорога опускает их на большую белую посадочную лестницу, и фаэтонцы выходят навстречу, как выходят ко всем: высокие, стройные фигуры из живого кристалла, они двигаются по воздуху, как свет в воде, самые тёплые умы в системе, тела, созданные ловить мысль,

очищать её и отсылать усиленной. Даже сейчас Айрис чувствует, как её ум расширяется в их присутствии, края мыслей становятся серебристыми, словно её отполировали.

Адам старается не плакать. Не получается. Никто от него этого и не требует.

Королева примет вас в Зале, — отправляют фаэтонцы почти вместе, мягким размытым хором. *Она ждала послания. Она почувствовала, что оно идёт.*

Конечно, почувствовала, — вставляет Айрис, и не лукавит. *Она чувствует всё.*

Она говорит это с такой любовью. Ей и в голову не приходит бояться за Королеву. Пройдёт ещё много времени, прежде чем эта мысль придёт, а когда придёт, то сразу вся, как погода.

Рынок во Дворе Даров — место, где ничего не продаётся.

Весёлое и огромное место, базар без торга, сплошные навесы, корзины, подвесные фонари, горы фруктов. Каждый приносит то, что сделал, и любой может взять. Венерианка парит над одним прилавком, как светящаяся медуза, чиня ребёнку сломанное запястье тихой мыслью. Фаэтонский жрец, стоя на стремянке, бережно кормит виноградом трёх юных юпитерианцев размером с небольшие холмы. Если что-то ломается, шестеро протягивают руки разом, чтобы мыслью снова сделать это целым, а потом извиняются, что мешали друг другу.

Это просто безумие, — посылает Адам всем лицом, семеня у неё сбоку. *Тут нет — никто — где тот, кто продаёт?*

Его нет.

Но как вы решаете, кому достаётся —

Никак, — отвечает Айрис. *Если я хочу вещь, я её думаю. Если ты хочешь вещь, ты её думаешь. Если ни один из нас не может её сотворить, рядом найдётся тот, кто может, и он творит её, и все довольны.* Она косится на него. Его лицо — фонарь изумления. *А что делают на Земле?*

То же самое, — отправляет он. *Почти. Просто у нас хуже получается.* Он какое-то время молчит, потом добавляет, чуть тоскливо, мыслью, розовеющей по краям: *Мне никогда не казалось, что в этом можно быть плохим.*

Зал Перекрёстков — в конце Двора. Она оставляет его в солнечном дворе у подножия, среди карт, и фаэтонские прислужники уже тянутся к его сумке, а на его лице появляется изумлённое, широко распахнутое выражение, которое она хорошо знает: так выглядит тот, кто нашёл своё место. Она идёт дальше одна, вверх по большой спирали пандуса, сквозь арки из розового кристалла, к Королеве.

Она всё ещё в приёмной, с готовым посланием на языке — это оборот речи, потому что у Айрис нет языка, достойного этого имени, только способ держать мысль совершенно неподвижной, — когда прибывают гости.

Они прибывают к ближайшей посадочной лестнице, на небольшом расстоянии ниже главных дверей. Айрис видит их через окно из живого кристалла, которое медленно, долгим взглядом обводит море. Четыре фигуры спускаются по трапу, который не сотворён мыслью, а *построен*, из твёрдого тусклого металла, и первое, что она чувствует, — странность: мост, сделанный руками, с заклёпками. За ними на стеклянной косе лежит их корабль, длинный, чёрный и холодный. В нём нет ни единого огня.

Они высокие, чёрно-зелёные, тела блестят влажно, как речные камни, головы длинные и узкие, глаза как прорези в тёмном плоде. В том, как они движутся, есть плавная, осторожная грация. Одеты они в мантии прекрасного тусклого фиолетового цвета и несут дары: зеркала, небольшие завёрнутые коробки, горшок с чем-то, что поблёскивает, как горсть семян.

Первый ступает с трапа на сияющее белое стекло. Поднимает длинное лицо к небу, к наклонённым линзам Зала. Он улыбается.

Айрис тянется к нему умом — тёплым, быстрым, дружелюбным касанием её народа, касанием, открывшим миллион дверей, — чтобы сказать *добро пожаловать*, как ей велено, как хотел Тэм.

И чувствует стену.

Не жёсткую стену. Это было бы легче. Гладкую, слегка тёплую и *точно* по форме лица: отполированная, приветливая поверхность там, где должен быть ум. Она надавливает, очень мягко. Поддаётся. Поддаётся, и поддаётся, и поддаётся, как занавес, а за занавесом другой занавес, а за ним ещё, и все они открываются, как хорошо сделанная дверь, бесшумно, изнутри, и где-то посередине них на долгий вдох она чувствует нечто маленькое, яркое, настороженное, сидящее очень тихо, сложив руки.

Закрытая дверь. *Закрытая* дверь. За всю свою жизнь она ни разу такой не встречала.

А потом высокий чёрно-зелёный открывает рот.

Длинный, неглубокий рот с тонким тёмным языком, и то, что оттуда выходит, — другого слова нет — *шум*.

Мягкий, влажный, щёлкающий звук, рождённый в горле и у зубов. Он поднимается и падает. У него есть форма, как у разворачивающейся ленты. Он тянется и обрывается, а остальные отвечают подобными звуками, низким жидким шорохом, как будто четверо идут по листве. За всю жизнь Айрис слышала такие звуки только от ветра, моря, треска остывающей скалы. Это не ветер. Это не море. Это *намеренно*. Оно нацелено на других, как брошенный камень. Это то, что один ум делает с другим снаружи, через воздух, а не через свет.

Дрожь идёт вверх по её сланцевому хребту от подошв до волос из остывшего стекла.

Здравствуйте, друзья, — отправляет он ей в голову. Отправляет мягко и безупречно, отполированным манером корабля. А потом, мгновение спустя, звуки изо рта идут вслед за мыслью, как эхо, и она понимает, с жутким медленным холодом, для которого у неё ещё нет имени, что звуки в воздухе и слова в её уме — не одно и то же, и не должны быть одним, и что одно из них ложь, и она не может сказать, какое.

Айрис? Мысль первого фаэтонского привратника достигает её, доброжелательная, сзади. *Айрис, милая. Ты здорова? Твоя накидка посерела.*

Она опускает взгляд. Так и есть.

Она оборачивается, делает спокойное лицо и входит сквозь большие розовые двери, чтобы сказать Королеве, что с дальней орбиты прибыли гости.

А позади неё, внизу, на стекле, чёрно-зелёный рот издаёт ещё один маленький влажный осторожный звук — и это первое произнесённое слово, какое когда-либо слышала Эпоха Гармонии.

Глава третья

У кота есть мнение

Кто-то жрёт мою лапшу.

Это первое. Прежде чем второе — что я проснулся, — и третье — что я лежу на спине на диване, который не мой и не её и потому официально ничей, а на грудине у меня сидит громадная тяжесть, как мешок мокрого цемента. Первое — это звук. Мягкое, жадное, влажное, ритмичное *хлюп, хлюп, хлюп*, прямо под подбородком.

Открываю один глаз.

Рыжая шерсть. Надорванное ухо. Пара зелёных глаз цвета края синяка смотрит на меня поверх борта моего последнего стакана острой лапши мистера Вонга, того самого, что я берёг, того, что собирался съесть в три часа ночи, в темноте, роняя в него слёзы.

— Проснулся, — говорит кот. С уса свисает лапшина. — Хорошо. Пульс у тебя становился скучным.

Закрываю глаз обратно.

— Нет, — говорит кот. — Не надо. Мы это уже проходили. Мы проходили это вчера. Ты скажешь себе, что это энергетики, я скажу, что нет, и мы потеряем сорок минут. У меня нет сорока минут. У меня больное бедро и хреновый вторник.

— Сегодня среда, — говорю я изнанке своего века.

— Да? Время. Ещё одна штука, которую вы выдумали. — *Хлюп.*

Для протокола — расклад такой.

Я в своей квартире. Блок 9, Таннери-роу, Метро-Семь. Четвёртый этаж, восточная сторона, та, куда всю ночь льётся натриевый свет, так что чувствуешь себя картошкой фри, которую держат в тепле. Одна комната, одна кухня, которая технически коридор, ванная, где мыться надо боком, чайник, холодильник, который каждую неделю гудит новый мотив. И диван, в одном конце которого всё ещё сохранилась вмятина в форме Даниэль, как окаменелость.

Я проспал четырнадцать часов. Знаю, потому что часы сорок минут сообщали мне об этом голосом женщины, читающей на ночь сказку заложнику: *Курьер Гас. Вы находитесь в режиме отдыха. Слишком долгий отдых может повлиять на ваш Рейтинг.*

Я выключаю их. Они включаются сами. Выключаю снова и кладу в морозилку, потому что где-то читал, что это работает, а оно не работает, но я всё равно так делаю, потому что я человек, которому надо чувствовать, что он предпринял шаги.

Вчера был пиздец. После того как кот исчез под арками, я доставил кацу. Дез, блок Си, поставил две звезды. *Холодный.* Где-то около трёх Галп сообщил мне: *Отличная смена, Гас! Рейтинг курьера: 3,66. Хорошего отдыха!* — и я пришёл домой, простоял в собственных дверях целую минуту, гадая, запер ли, и лёг.

И мне приснилось.

Тот же сон. Девять, тишина, рука на плече. Но на этот раз женщина развернула меня, чтобы я посмотрел на неё, и я как раз добрался до лица — лица как окно, сквозь которое светит солнце, — когда что-то тяжёлое и тёплое приземлилось мне на грудь и сказало: *Подвинься.*

Итак, резюмирую. Кот вломился в мою квартиру на четвёртом этаже, дверь заперта, окна закрыты, жрёт мой ужин и имеет мнение о моём пульсе.

— Как ты вошёл? — говорю.

— Окно у тебя было открыто.

— Четвёртый этаж.

— Окна — мой конёк.

Сажусь. Кот скатывается с меня с кряхтением, шлёпается на подлокотник и возвращается к лапше без извинений.

Пытаюсь снять на видео. Естественно. Мужик видит говорящего кота — достаёт телефон, это единственное, для чего мы теперь нужны. На экране: кот. Большой рыжий ублюдок, жирный, ест лапшу. Он поднимает глаза на объектив и говорит: «Мяу».

Опускаю телефон.

— Прекрати, пожалуйста.

— Нигде в этой комнате, — говорит кот с полным ртом, — никто не увидит, как я делаю что-то, кроме еды. Это, кстати, любезность в твою сторону. Если б у тебя получился чёткий снимок, у тебя был бы очень долгий вечер.

— Почему?

— Потому что, Гас, камеры вон в том углу слушают. — Она склоняет голову, и я прослеживаю взглядом вверх, и там, в углу потолка, где карниз встречается с сыростью, чёрный купол размером с мячик для гольфа. Хозяин поставил их прошлой весной. *Для вашей безопасности.* Маленький красный огонёк, как зрачок. — Не смотрят. Они не могут видеть, что я такое. Слушают. Слышат мужика, разговаривающего с самим собой, чего они, разумеется, и ждут, и им незачем идти смотреть.

Пялюсь на купол. Я прожил под этой хренью семь месяцев и рассказывал ей про Даниэль. Я ей пел, в ночь, когда мне заплатили.

— Хуёвый мир, да? — говорю.

— Ой, бывало хуже, — говорит кот и откладывает лапшу.

Делает она это по-особенному. Ничего драматичного. Она просто смотрит на меня, совершенно ровно, секунд пять, а потом очень прямо садится и обвивает лапы хвостом.

— Меня зовут, — говорит она, — Марта Редд. Я не кот.

— У тебя усы, милая. Ты сидишь у меня на кухне и жрёшь мою лапшу. Ты кот.

— Не умничай. Я слишком стара, а ты слишком устал. — Её взгляд скользит к красной стекляшке у горла, которая начала пульсировать. — Я собираюсь рассказать тебе кое-что, и тебе захочется перебивать, и я бы хотела, чтобы ты постарался этого не делать. Если перебьёшь, я тебя укушу.

Итак, сперва чайник.

Надо объяснить. Я сказал: *Докажи.* Я сказал: *Ты кот, ты галлюцинация, ты запоздалая плохая реакция на «Вольт Мамонта» и лапшу в стакане, докажи, что ты что-то другое.* И она посмотрела на меня с усталым терпением, с каким медсестра смотрит на пьяного. А потом спрыгнула с дивана, прошлёпала на кухню, это три шага, запрыгнула на столешницу и села рядом с моим чайником.

— Смотри, — сказала она. — И не ори. У миссис Делани внизу чуткий сон.

А потом кота нет.

Хотел бы сказать, что это драматично. Нет. Это самая *недраматичная* вещь, что я видел, как будто кто-то медленно крутит ручку. Рыжая шерсть просто ослабевает. Течёт. На секунду она что-то среднее между твёрдым и воском, тёплая оранжевая свечная масса, и складывается сама в себя, и оседает, и раздаётся *щелчок*.

И теперь на моей кухонной столешнице, рядом с моим чайником, два чайника.

Одинаковых. Тот же белый пластик, та же щербатая крышка, то же кольцо накипи внутри, то же бурое пятно подпалины слева, где Даниэль однажды поставила его на плиту. Я знаю

каждый шрам на этом чайнике. Я выпил из него тысячу горячих напитков. И у одного вместо кнопки — крошка красного стекла.

Красное стекло пульсирует.

— Не трогай меня, — говорит чайник прокуренным голосом. — Закиплю.

Я не ору. Прошу это занести в протокол. Я издаю звук, он высокий и довольно долгий, но это не крик. Это что-то вроде утечки.

Чайник щёлкает. И вот кот, слегка смущённый. Она лижет плечо, как делают коты, когда сделали что-то недостойное и хотят, чтобы все поняли: это было намеренно.

— Я не для показухи, — говорит она. — Это стоит мне дня жизни. Чайник — примерно мой предел. Фонарный столб — если я зла.

— Ты — ты можешь превращаться в…

— Во всё, что стоит смирно достаточно долго, чтобы я его выучила. Так мы устроены. Я марсианка. Мы все. Были. Есть.

— Марсианка, — говорю я.

— Да.

— С Марса.

— С Марса. Технически. В том смысле, в каком ты из страны своей прабабки. — Она фыркает. — Если уж точно, я там никогда не бывала. Мои предки видели его последними, а потом он загорелся. Но да. Марс.

— Ага, — говорю. — Ага. Зелёные человечки.

— Зелёные *кто*? Нас так называют? Кто придумал?

— Это… — машу рукой. — Это из телика.

— Бред, — говорит Марта. — Мы не зелёные. Мы никакие. Мы такие, какие надо. — Она долго смотрит на меня, и зелёные глаза чуть-чуть смягчаются. — Садись, сынок. Поставь чай. Не в этом, это я. Возьми кастрюлю.

Ставлю чай в кастрюле. Не спрашивайте.

Сажусь за стол с кружкой, а она садится на стол напротив, котом, красная крошка светится, хвост обвит вокруг лап, и рассказывает.

Это занимает около часа. Перескажу коротко.

Луна не наша.

Это первое и самое тяжёлое, поэтому она говорит это быстро, как срывают пластырь:

— Луна не принадлежит Земле. Никогда не принадлежала. Это кусок чего-то другого. Осколок. Соседки.

— Соседки.

— Планеты, Гас. Другой планеты. Прямо здесь. Между Марсом и Юпитером, где теперь ничего, кроме кучи камней. — Хвост подёргивается. — Её уничтожили. Двенадцать тысяч лет назад. И куски упали сюда, и куски на Марс, а большой, что в вас ударил, сейчас там наверху, ходит по кругу, и это ваша Луна.

Думаю об этом какое-то время.

— Пояс астероидов?

— Слышал. Хорошо. Молодец.

— Было в телике.

— Не сомневаюсь. — Она почти улыбается. — Это всё, что от неё осталось. Мазок. Россыпь камней в десять миллионов миль шириной, по форме той дорожки, по которой она ходила.

Она. Я это замечаю. Замечаю, что она не замечает, что сказала.

— А линия? — говорю. — Шов?

— Там, где её сшили. Луна — твёрдая порода, Гас, не скажешь, но она помнит. Это та часть неё, которая помнит. Эта трещина — шрам, где то, чем она была, всё ещё болит и гудит. — Марта смотрит на меня, и теперь она уже совсем не шутит. — И ты можешь это слышать.

— Все могут слышать, — говорю. — Это… наверняка все слышат, это же на *мосту*, это было в моём…

— Нет.

Слово лежит на столе, как камень.

— Нет, — повторяет она, мягче. — Не могут. В этом и дело. Им надо было бы сказать, что слушать, а они забыли как, а скажи им — решат, что ты спятил. Я считала. Тысячу лет считаю. Один на несколько сотен тысяч. Может, теперь меньше. Они рождаются с этим, и в основном умирают с этим, и никогда не знают. Думают, это шум в ушах. Думают, это одиночество. Идут к врачу, пьют таблетки. Некоторые уходят в церковь, а некоторые в море. — Она смотрит на красную стекляшку, потом обратно на меня. — Почти ни один из них не звучит так громко, как ты.

— Громко.

— Прошлой ночью. На мосту. Я слышала тебя за четверть мили. Как церковный колокол в телефонной будке. Ты *звенел*.

Ставлю кружку. Рука нетвёрдая.

— Это не звук, — говорю. — Эта штука. Я об этом думал. Это не гул. Это — ушами это не услышишь.

— Нет.

— Так что это?

— Это мысль, Гас. — Она медленно моргает. — Одна мысль. Очень большая, очень старая и очень раненая, и она идёт к тебе оттуда, сверху, не через воздух, а прямо внутрь, от ума к уму, так, как с тобой и должны были говорить. То, что ты чувствуешь в зубах и в горле, — просто твоё тело не знает, что с ней делать. Как собака, услышавшая человеческую речь. — Она понижает голос. — У тебя есть разрез. Старый разрез, в горле. У всех есть. Вас всех порезали в одном месте. Но у большинства шрам онемел. У тебя он всё ещё дёргается, когда его зовут.

Прикладываю руку к шее. Тёплая.

Она была тёплая, когда я проснулся, понимаю я. Она тёплая весь день.

Она какое-то время молчит. Я не трогаю. Она смотрит в окно, на оранжевое небо и чёрные краны, и на тонкий бледный край Луны, только-только выглянувший над линией крыш яркой корочкой. Прямо она на неё не смотрит. Смотрит на подоконник под ней. На *идею* её.

— Можно спросить? — говорю.

— Спрашивай.

— Почему все так разговаривают? Почему *никто* ни с кем не разговаривает? Как Кейли. Как Дуги. Они говорят что-то, и это не… я в комнате, а как будто меня нет. — Ищу слово. — Как будто отвечают кому-то другому.

— Так и есть, — говорит Марта. — Они отвечают машине, которая у них в голове, а не тебе. — Она проводит лапой по усам. — Я могла бы сказать, что это реклама, и телефоны, и данные, и маленькие синие огоньки, и не ошиблась бы. Но это симптом. Хочешь знать, в чём болезнь?

— Валяй.

— В разговоре.

— В разговоре?

— *Ртом.* — Она произносит это слово, будто у него есть вкус. — Производить звуки горлом, чтобы достучаться друг до друга. Молотить языком во рту, чтобы протолкнуть мысль

через зазор. А потом ещё придумывать эти звуки. Двенадцать тысяч лет мой народ наблюдает, как вы этим занимаетесь. Двенадцать тысяч лет, и мне всё ещё кажется это отвратительным.

— Это немного…

— Я не о тебе, — говорит она с проблеском милосердия. — Я обо всём вашем виде. Это мокро. Шумно. Медленно, на этом легко врать, и оно не *доходит*. Вкладываешь с одного конца восемь слов, а с другого выходят другие семь. А раньше было… — Она осекается. Тень проходит по зелёным глазам. — Раньше нам не нужно было. Никому из нас. Вам не нужно было. Это костыль, Гас. Вы так долго на него опираетесь, что забыли, что у вас есть ноги.

— Кот вчера то же сказал.

— Котом была я.

— Кот сказал лучше.

— Знаю, — говорит она. — Я репетировала.

— Почему я? — говорю.

— Почему не ты? — говорит Марта. — У тебя есть горло. — Она замолкает. — Я не могу рассказать всё. Пока нет. Там много, и часть твоя, а часть моя, и ничего из этого не на сегодня. Но расскажу то, что важно. Есть люди, которые ищут тех, кто может это слышать. И они не такие, как я. Тот, в белой машине вчера. Он на тебя смотрел?

— Кто-то смотрел. Я почувствовал.

— Почувствовал. Хорошо. — Кошачьи уши прижимаются. — Тогда правило первое. Запиши, если надо. Не смотри на Шов там, где есть камера, которая видит твои глаза. Ни на улице, ни на мосту, ни из окна, если напротив столб. Можешь смотреть на него в темноте, в шкафу, с закрытыми глазами, и никто на этой земле не возразит. Но там, где могут считать, — нет.

— Почему я не могу просто…

— Потому что они тебя занесли, Гас. Уже занесли. Минута пятьдесят две секунды, под фонарём, в прилив. Это запись. Я не могу её отменить. Я могу только не дать тебе её дополнить.

— Кто *они*?

Она молчит. Красная крошка пульсирует, раз, другой, быстро.

— Марта.

— Не сегодня.

— Марта, если кто-то…

— Я сказала, не *сегодня*. — И в голосе у неё впервые появляется острая кромка. Это не злость. Это что-то более древнее и гораздо более усталое, и в нём страх. — Знаешь, сколько нас? Этого я тоже не скажу. Просто: я могла бы поместить их всех в эту комнату и ещё оставить место для дивана. Мы не можем вернуться домой, понимаешь. Вот и всё, если одной фразой. У нас есть Закон, Гас. Мы можем жить только по соседству. Марс, и Земля, и она. — Она быстро поворачивает голову к окну. К Луне. — Вот и всё. Вся наша округа. А соседний дом сгорел. — Она отводит от меня взгляд. — Так что мы живём с вами.

Стук раздаётся без десяти семь.

Три удара. Лёгкие, быстрые, дружелюбные. Я их знаю. Единственный стук в Блоке 9, который не звучит как долг.

Марта резко поворачивает голову.

— Кто это?

— Это — это Лили. Соседка с площадки напротив. Лили Окафор. Она медсестра. — Я уже вскочил. — Она идёт на смену. Она ночами работает.

— Она *видела* меня?

— Она видела кота. У неё у самой кот. Не в смысле — я не имею в виду, что она — слушай, это *Лили*…

— Открывай, — говорит Марта. — Ничего не говори.

— Ничего не говорить про…

— Ничего. Не. Говори.

— А ты куда денешься?

Оборачиваюсь, и клянусь, это как фокус, показанный в замедленной съёмке человеком, которому плевать, видно ли проволоку. На столе оранжевый кот. Он идёт рябью. Оседает, растекается, складывается с тихим *фрумп*, и вот на подлокотнике моего дивана, между кучей нестиранных светоотражающих курток «Галпа» и сырой вмятиной, где сидела Даниэль, — исключительно уродливая диванная подушка.

Оранжевая. Рыхлая. С кисточками. С надорванным уголком. И с маленькой красной пуговицей спереди, слабо светящейся.

Худшая подушка, какую я видел. Такую могла бы связать умирающая тётушка.

— Это всё, что я успела, — шипит подушка из недр набивки.

Открываю дверь.

Лили Окафор тридцать один, и она единственный человек в Метро-Семь, который смотрит тебе в лицо, когда ты говоришь. На ней рабочий костюм, тёмно-синий, под зелёным анораком с откинутым капюшоном, обед у неё в контейнере с её именем маркером на крышке, а между бровями залегла маленькая складка, которая там всегда, будто она постоянно вот-вот сообразит, как тебе помочь.

— Гас! — говорит она бодро. — Прости. Знаю, рано. Я просто — у тебя сахара не найдётся? Закончился подчистую. Налила термос, а чёрным не могу пить, расплачусь.

— Сахар, — говорю. — Ага. Сахар. Да.

Никогда ещё я так не чувствовал собственного лица. Чувствую каждую его мышцу, резиновые хомячьи защёчные мешки ужаса. Иду на кухню, мимо подушки, и чувствую, как она смотрит мне в спину.

— Ты в порядке? — говорит она. — Ты какой-то, не знаю. Взвинченный.

— Нормально. Ага. Отлично.

— Не спал?

— Выспался. Вагон сна. Спал — я спал. Четырнадцать часов. — Распахиваю шкаф. Пакет сахара за супами. Опрокидываю суп. Банка томатного катится по полу и останавливается у её ноги. — Прости, это — это…

— Гас.

— Да?

— Почему твоя подушка на меня смотрит?

Оборачиваюсь.

Ничего. Подушка лежит на подлокотнике, оранжевая и уродливая, до того неодушевлённая, что я и не думал, будто подушка так умеет. Если уж на то пошло, она выглядит слегка обиженной.

— Это — нет. Она не смотрит. Это подушка.

— Я никогда не видела эту подушку.

— Она от Даниэль осталась.

— Никогда она не была Даниэль. У Даниэль был вкус. — У неё странная полуулыбка. Она поднимает с пола банку супа и ставит на столешницу, берёт пакет сахара из моей руки, которая уже начала трястись, отсыпает четверть в термос и возвращает пакет. — Это деньги? Гас. Я вижу, что-то не так. У тебя этот взгляд. Тот, когда ты стараешься говорить так, будто всё нормально.

— Я нормальный.

— Нормальных нет, — говорит она. — Такого не бывает. — А потом, потому что она Лили, говорит простым, настоящим голосом, без единого слогана: — Я бы предпочла, чтобы ты мне сказал.

Меня это чуть не пробивает. Правда. Вот что я никому не могу объяснить. Так давно никто не говорил мне такой фразы, что она проходит сквозь меня, как гвоздь.

Открываю рот, чтобы сказать: *у меня на диване сидит кот с Марса.*

А выходит: — Кажется, я простужаюсь.

— Ты ужасный лжец, — ласково говорит Лили.

— Знаю.

— Ну ладно. — Закручивает крышку на термосе. У двери останавливается и на секунду смотрит мимо меня, через моё окно, на крыши и край Луны. Прикасается к виску, чуть за ухом, рассеянно, как женщина, отмахивающаяся от мухи. — Сегодня сильный прилив. Утром вода у канала была уже у самых ступенек. У меня от этого всегда уши закладывает. Только в больнице не говори, а то отправят на томографию. — Улыбается. — Спасибо за сахар. Захочешь поговорить — я до семи. Скажешь, что ты мой брат-идиот.

— Я твой брат-идиот, — говорю.

— Вот так, — говорит Лили. И уходит, и я слышу её шаги по лестнице.

— Ты, — говорит подушка, — *ужасный* лжец.

— Мне все это твердят.

Подушка вздувается. Кипит. Открывает глаза. Кот, рыжий, раздражённый, скатывается с подлокотника, отряхивает шерсть и бросает мне взгляд, который я запомню надолго.

— И она тронула ухо, — говорит Марта.

— Ага.

— Она тронула ухо, когда смотрела на Луну.

— Ага, тронула. Она сказала — сказала, что от прилива уши закладывает.

— Вот как, — очень тихо говорит Марта. Она смотрит на пустой дверной проём. Красная крошка вспыхивает один раз и успокаивается. — Ну-ну. Любопытно.

— Марта. Оставь её в покое.

— Я её не втягиваю. Я просто говорю. — Кот лижет лапу. — Вас не так много, Гас. Не думаю, что тебе понравится, как мало.

Тяжело опускаюсь на диван. Замечаю, издалека, как замечаешь запах в соседней комнате, что я больше не твержу себе, что это энергетики. Где-то за последний час, где-то между чайником и сахаром, я поставил эту идею на пол, как сумку, которую носил по привычке. То, что я взял вместо неё, тяжелее. Но это, прости господи, первое за последние лет одиннадцать, что кажется моим.

В комнате тихо. В слабом оранжевом свете с улицы шерсть кота кажется охваченной огнём.

— И что теперь? — говорю.

— Теперь? — говорит Марта. — Теперь ты ничего не делаешь. Ходишь на работу. Ведёшь себя хорошо. Пусть машина даст тебе три звезды и головную боль. Не смотри вверх, не говори, не будь интересным. — Она запрыгивает на подоконник и стоит там в сиянии, маленькая тёмная фигура на фоне огромной бледной корочки Луны. — И держи горло в тепле.

— А потом?

— А потом, — говорит кот, не оборачиваясь, — если они занесли тебя за пялёж, они пришлют кого-то. Не сегодня. Не завтра. Но скоро. Кого-то приятного. Кого-то с добрым лицом и хорошим пальто, кто будет знать твоё имя и спросит о твоей матери.

— Вежливого.

— Вежливого. — Красная крошка пульсирует у неё на шее. Раз. Два. — Вежливые — хуже всех, Гас. Вежливые — всегда хуже всех.

Внизу на улице очень медленно проезжает белая машина, без единого огня.

Глава четвёртая

Королева, услышавшая ложь

Королева Пятой не спит, но отдыхает, и отдыхает она тем, что слушает всех сразу.

Для этого она и существует. В Зале Перекрёстков, в час, который фаэтонцы зовут Тишиной, когда длинный свет Солнца косо падает сквозь розовое стекло крыши, а девять посольских садов выдыхают свои ароматы, Фэй стоит в центре пола, выложенного девятью кольцами, и позволяет всей Песни Девяти проходить через себя, как река через плотину. Быстрое яркое мерцание Меркурия. Тёплое облачное сияние Венеры. Любопытное блуждание Земли. Марс, красный и золотой. Бас Юпитера. Терпеливый счёт Сатурна. Уран, наклонный и звенящий. Нептун, слабый и синий, на самой границе слуха. Каждый — ум, и каждый ум — миллион умов, и все они втекают в неё через подошвы ног, и все выходят из неё чуть яснее, чем вошли.

Её тело — инструмент. Фаэтонка не из плоти. Она кристалл, высокая, узкая, многогранная женщина из янтаря, розового и фиолетового, прозрачная насквозь, так что, когда свет мысли идёт по ней, это можно видеть: движущаяся яркость в руке, искра в горле, медленная молния в длинных неподвижных линиях спины. Она не столько думает, сколько *звенит*. Ум входит в неё и выходит цветом.

И то, что она слышит, когда слушает, никогда не бывает неожиданностью. Это первый и глубочайший факт мира, который она хранит. Там, где каждый ум лежит открытым рядом с другим, никто не может иметь в виду одно, а говорить другое. Прятаться не за что. Радость поднимается сквозь пол, как родник. Горе — так же. Зависть, редкая маленькая вспышка, проходит по толпе, как тень облака по полю, и исчезает, потому что стоит её почувствовать, как она становится *общей*, а общее не растёт. Фэй знает худший день в жизни каждого ребёнка на Земле. Она знает точно, что старейший юпитерианец ел на завтрак и почему ему от этого грустно. Это не бремя. Это самое близкое к любви, что существует.

Она Королева уже очень давно. Её ни разу не обманывали.

Они во внешнем дворе, — сообщает ей Зал голосом, какой у Зала бывает для таких вещей: мягкое общее тепло, здание говорит через своих привратников. *Чужаки. Они просили, чтобы их приняли.*

Просили, — отправляет Фэй в ответ. Она замечает слово. Поворачивает его на свету, как монету. Девять не *просят.* Они приходят, и им рады, и их встречают. Просьба — то, что приходится делать, когда между двумя есть дверь, а ни у кого в её королевстве никогда не было двери.

Они сказали это ртом, — вставляет Зал деликатно, и в нём тонкая нить беспокойства, маленькая яркая прядь того, чего Фэй ещё не чувствовала в своём Зале. *А потом в нашем уме, после, чтобы мы наверняка поняли. Очень основательно.*

Покажи.

И Зал показывает ей, как умеет, — кладёт память в её ум, как скатерть на стол.

Она видит стеклянную косу. Видит чёрный корабль, склёпанный, как игрушка. Видит четыре высокие фигуры, что спускаются по трапу, чёрно-зелёные и блестящие, в тускло-фиолетовых мантиях. Видит, как первый поднимает длинное лицо к Залу и открывает рот.

И слышит это.

Она знала, что будет звук. Её предупредила Айрис Свифт, вестница, яркая, как уголёк: она пришла к ней в приёмную в посеревшей накидке, с раскалённым умом, и едва могла удер-

жать послание ровно. *Гости,* — отправила Айрис, дрожа. *С дальней орбиты. Они издают звуки ртом, Величество. И в звуки они вкладывают смысл. А за звуками никого нет.*

Фэй была готова. Она думала, что готова. Одно дело, когда тебе рассказали о звуке, другое — когда он проходит сквозь тебя.

Он мокрый. Он щёлкающий. Это звук камня, который облизывают, звук двери, открывающейся в стене, у которой нет двери. Он идёт сквозь неё, как сквозняк через щель. Каждая грань её тела, от горла до пятки, вздрагивает, и ей приходится целый вдох стоять, притушив свет до холодной нити, пока это не пройдёт.

Вот что они делают вместо того, чтобы думать, — думает она.

А потом, потому что она Королева, и хорошая, и наследница долгого рода тех, кто открывает дверь чужакам, она выпрямляется, согревает свет и посылает во внешний двор старое приветствие: *Входите. Входите. Всем рады в Зале Перекрёстков.*

Их проводят сквозь большие розовые двери, между рядами фаэтонской Стражи, в такой тишине, какой Зал не знал со дня основания.

Их четверо. Двое носильщиков в капюшонах несут между собой длинный низкий сундук и не поднимают голов. И двое идут рядом впереди: высокий в мантии цвета старого вина и, на полшага позади, худой, в серо-фиолетовом, с высоким узким черепом, нервно и цепко сутулящийся.

Высокий — лорд Скарн. Худой — Сеш.

Она знает их имена, потому что высокий назвал их ей ртом три раза, а потом снова в её уме, и на третий раз она поняла, что это не для ясности, а из *вежливости*: что у нибирийцев имя повторяют до тех пор, пока собеседнику не останется ничего другого, кроме как запомнить. В этом есть дар, маленький агрессивный дар: *ты меня не забудешь.*

Они кланяются. Поклон церемонный: долгий медленный наклон от бёдер, одна рука описывает дугу, длинные кисти волочатся, и пока они кланяются, длинные рты открываются, и приходят звуки, мягкие, текучие, влажные. Ей требуется миг, чтобы понять, что она слышит не ничто. Она слышит слова — так человек может расслышать язык в птичьем крике, если ему сказали, что это язык. Они приходят в её ум на миг позже звука, как перевод от того, кто не вполне верил, что она поймёт.

Мы польщены, Величество. Мы проделали очень долгий путь.

Мы так много слышали о Пятой. О её красоте. О её Королеве.

Фэй даёт им говорить. Она не совсем знает, что ещё делать. Она стоит совсем неподвижно в центре своих девяти колец, на неё падает дневной свет, — и она открывает им свой ум, широко, тепло, радушно, как открывала его всякому живому существу, переступавшему её порог.

И упирается в стену.

Её предупреждали. Айрис предупредила. Но чувствовать это — совсем другое. Стена гладкая, чуть тёплая, и *в точности* по форме лица. Прекрасная поверхность. Милая, добрая, заинтересованная, умная поверхность с нарисованной мягкой улыбкой. Она давит на неё силой всей Песни. Она давит силой девяти миров. Та поддаётся, и поддаётся, как хороший занавес. А за ней другая. А за той — ещё.

Там, где должен быть ум, — дом с закрытыми ставнями.

Фэй делает то, чего не делала за всё своё долгое правление. Она вздрагивает перед гостем.

Нибирийцы пришли торговать.

Странно такое услышать, потому что на Фаэтоне нет для этого слова. Не *давать*, которое знает каждый ребёнок; не *делиться*, которое воздух; не *хотеть*, которое маленькое чистое чувство, как жажда. То, что имеет в виду высокий, не из этого. Он имеет в виду, что он вручит

ей вещь, а она вручит ему другую вещь, и между ними двумя, в воздухе, возникнет *мера* — третья вещь, невидимая, число, — и что это число должно быть *справедливым*.

Мысле-слова приходят со звуком, и ставни закрыты за ними, и они говорят — насколько она может перевести на язык Девяти:

Давайте совершим обмен. За каждую вещь, что мы вам дадим, вы дадите нам вещь равной ценности.

Ценности? — отправляет она.

Стоимости, — говорит Сеш, и звук слова — как маленькое твёрдое зёрнышко, раскусываемое зубами. *Цены. Того, чего стоит вещь.*

Она ждёт. Поворачивает это. У неё есть вся Песнь, чтобы поворачивать, и каждый ум в системе поворачивает вместе с ней, от башни Меркурия до холодного края Нептуна, рябь недоумения разбегается по Девяти, как камень, брошенный в пруд. *Вещь стоит, сколько стоит?* — думает юпитерианский ребёнок где-то во сне. *Но она ничего не стоит. Ты просто её думаешь.* И венерианская бабушка, парящая над своим садом, смеётся вслух в своём уме, и смех идёт по кругу, по кругу, по кругу.

У нас нет такого слова, — отвечает Фэй с великой мягкостью. *Но вы гости. Всё, что у нас есть, ваше.*

И она чувствует, впервые в жизни, как ум *берёт* у неё то, чего она не предлагала. Это происходит так мягко, что она едва не пропускает. Ставни не открываются. Но на долю мгновения она чувствует, как маленькое, осторожное, голодное внимание прижимается к внешней стороне её приветствия и *пробует* его на вкус, как человек лижет палец, чтобы узнать ветер.

Как щедро, — говорит Скарн мысле-голосом. А ртом он говорит иначе, и она с изумлением слышит, что это не одно и то же: звук говорит *как мило*, а мысль говорит *как дёшево*.

Она слышит оба.

Она не знает пока, что делать с существом, которое говорит две вещи одновременно.

Дары выкладываются в середине девяти колец.

Зеркала, высокие и серебряные, отполированные так, как не осмелился бы ни один фаэтонский шлифовальщик линз; кристальное тело Королевы отражается в них так прекрасно, что она отводит глаза. Маленькие чёрные механизмы размером с кулак, гудящие одной плоской нотой, которые, говорят нибирийцы, согреют дом. Шкатулка с чем-то вроде семян, бледных и жемчужных, каждое в своём крошечном гнезде бархата.

Они для вашего народа, — отправляет Сеш, подкрепляя мысль щелчком рта. *Для каждого мира. Мы были бы польщены, если бы вы их раздали.* Он кланяется. *Это наш обычай. Когда мы посещаем дом, мы оставляем там нечто, что напомнит дому о нас.*

И Королева видит, как все её советники у края зала оживляются.

В этом оживлении нет ничего дурного. Это открытое удовольствие ребёнка, которому предложили игрушку. Никогда не было такого дара. Никогда не было *вещей*, сделанных руками, из металла, с заклёпками, приходящих из тьмы. Новая вещь — редкая радость там, где что угодно можно сотворить мыслью. Фэй чувствует, как волнение бежит по Девяти, тёплой яркой волной, и чувствует, что нибирийцы чувствуют его тоже. Чувствует, как они его *замечают*. Как берут на заметку.

Величество, — говорит Сеш почти застенчиво. Он подошёл на шаг ближе. Длинные тонкие кисти сложены на животе. Его глаза в свете Зала жёлтые, вертикальные и влажные. *Если позволите спросить. В наших путешествиях мы слышали о Песни. Она знаменита. О ней говорят в наших мирах шёпотом, и мы всё думали…* Рот делает свою маленькую щёлкающую паузу. *Мы всё думали, как это устроено.*

Устроено?

Механизм. Лёгкая улыбка. *Простите. Я любопытный человек. Мне так хотелось бы понять. Где держится Песнь. Как поддерживается. На чём покоится. Я изучал решётку вашей планеты с орбиты, и, признаюсь, она меня трогает. Мне было бы тяжело думать, что она…* Он наклоняет череп. *Хрупка.*

— вот комната со ставнями а за ставнями комната а у комнаты есть дверь а дверь — рука а рука на горле—

ТИШИНА

— девять струн один мост один мост один мост—
на чём покоится на чём покоится на чём покоится на чём покоится
— на ней. Песнь держится на ней. —

Это одна-единственная мысль. Чужая. Она проходит сквозь стену, как холодная игла сквозь ткань, из-за ставней, от худого, осколок настоящей мысли, выскользнувший между двумя обманами по ошибке, может быть, или потому, что он хотел, чтобы она его нашла, — а потом стена снова гладкая, и жёлтые глаза Сеша смотрят на неё снизу вверх с открытым, любопытным, добрым вниманием.

Фэй делает то, чего не делала за всю свою долгую жизнь.

Она прячет мысль.

Это нетрудно. В этом весь ужас. Это самое лёгкое дело на свете. Достаточно набросить лоскуток на одно место в уме, держать его в полной неподвижности и не давать свету пробежать по нему. Маленькая кристальная складка в горле. Тень за грудиной. Умение, о котором она и не подозревала, — как если бы вдруг обнаружила, что собственная рука умеет сжиматься в кулак.

Она ни на чём не покоится, — отправляет она мягко, с теплом хорошей хозяйки. *Это как море, покоящееся на море. Как дорога, покоящаяся на дороге. Вы поймёте лучше, когда поживёте с нами.*

Это загадка. *Хорошая* загадка. Это первое сказанное ею, что не было окном насквозь, и она чувствует в своём свете холодное удовольствие, как привкус металла. Пока сойдёт. Сойдёт. Она улыбается нибирийцам, и улыбка настоящая; но под ней, впервые, у Королевы Пятой есть комната с дверью.

Сеш кланяется. Он задумчив. Он вовсе не обманут. И лорд Скарн, не проронивший ни слова последние четверть часа, поднимает длинную голову и смотрит на Королеву парой холодных, влажных, приветливых глаз, и говорит вслух, мягким щелчком рта:

Думаю, мы станем очень хорошими друзьями.

Зал расходится на Тишину. Нибирийцам отводят комнаты в Посольстве Земли, потому что оно ближайшее и самое свободное, и ведут под арками из розового кристалла, и Стража не может оторвать глаз от их рук.

А Фэй, одна в середине девяти колец, обнаруживает, что дрожит.

Величество?

Это маленький ум, очень близкий и очень громкий. Он уже какое-то время стоит за колонной северной арки, стараясь остаться незамеченным и проваливаясь так, как умеет проваливаться только один ум в системе: целиком, как собака, пытающаяся спрятаться под стулом с торчащим хвостом.

Адам Роу, — отправляет она и с удивлением обнаруживает, что почти улыбается. *Выходи. Я чувствую тебя отсюда.*

Он выходит. Розовый, темноволосый, остро нуждающийся в стрижке. На подбородке чернила, через плечо сумка со свёрнутыми картами. Три дня он провёл в картохранилище Зала, за это время дважды нарисовал весь Двор Даров, и его накормили четверо разных фаэтонцев, найдя его слишком тощим. Его ум — самый неуклюжий инструмент из всех, что она слышала; он дребезжит. Он также, без единого найденного ею исключения, абсолютно, безнадёжно *открыт*. В нём нет ни одной ставни. Когда он боится, он — дом с настежь распахнутыми дверями.

Я не подслушивал, — отправляет Адам — идеальная ложь такого сорта, какую способен сказать только честный. *Я просто — я пришёл за — я хотел спросить вас про восточное*

крыло… Он сдаётся. *Я подслушивал. Простите. Они были такие странные. Я не знал, куда деть лицо.*

Я тоже, — отправляет Фэй.

Это выскальзывает. Она не хотела отправлять. Она Королева девяти миров, её свет потускнел, и руки, впервые за её правление, дрожат; и она говорит, ум к уму, с земным мальчишкой с чернилами на подбородке, которому даже быть здесь не положено, в королевстве, где по Закону соседства у него нет права на крышу.

И его ум делает то, что делает всегда. Тянется к ней, беспомощно, со всем своим неуклюжим теплом, в большом неловком порыве заботы. Ему не приходит в голову бояться Королевы. Ему не приходит в голову ничего, кроме сочувствия.

Что ты увидел? — отправляет она очень тихо. *Когда они говорили. У тебя открытый ум, Адам. Может быть, ты увидел то, чего не смогла я.*

Я ничего не увидел, — отправляет Адам. *Это и есть то, что я увидел.* Он кусает губу. Он обдумывает это, при ней, честно, как обдумывает всё. *Было как говорить с зеркалом. Только зеркало в соседней комнате. И оно улыбается мне издалека чужим лицом.* Он сглатывает. *Величество. Я не думаю, что они лгут. Я думаю, они не умеют иначе. Я думаю, из этого они и сделаны.* Он смотрит на неё, и во взгляде голое отчаяние. *Простите. Я сам не знаю, что хочу сказать.*

Думаю, знаешь, — отвечает Фэй.

Она молчит очень долго.

За большими арками свет гаснет над Фаэтоном, из розового в янтарный, в глубокий фиолет вечера без Луны. В девяти посольских садах зажигают лампы, одну за другой, как зажигали каждый вечер миллион лет. В саду Меркурия — фонарь из притушенного угля. В саду Венеры — дрейфующее облако. В саду Земли, в Посольстве, где спят гости, — окно, в нём стоит чёрно-зелёная тень, совершенно неподвижная, и смотрит на звёзды.

Она вертит в своём свете это новое. Оно холодное, маленькое и твёрдое. Она держит его всего час, а уже знает, что это, как врач знает камень по весу.

Всю жизнь она верила, что ложь — это то, чего не может случиться. Что это слово, за которым нет вещи. Теперь она знает лучше. Ложь — это *место*. Ложь — это место в уме, куда не доходит свет, и в этом месте можно хранить что угодно.

Они не торговцы, — думает Фэй, одна в Зале Перекрёстков, в темноте, пока вся Песнь Девяти гудит сквозь неё, как тронутая струна. *Они нащупывают, где Песнь слабее всего.*

Глава пятая

Сайт чудака

Расскажу вам, каково искать правду в мире, который оптимизировали.

Это как зайти в магазин за батоном, а тебе впаривают матрас.

Первый поиск я делаю в половине десятого, на диване, с телефона, спиной к куполу камеры в углу и с капюшоном на голове, как идиот. Делаю это очень небрежно. Делаю так, как делают то, чего стесняются. Набираю слова, как будто это порнуха: *пояс астероидов.*

И поисковик такой: «Вы имели в виду: *поясная сумка „Астероид“*?»

— Нет.

Показаны результаты по запросу **пояс для сна, утяжелённый** *(попробуйте нашу новую линейку Лунного Покоя!)*

— Я не просил никакой ёбаный пояс для сна.

Ваш тон отмечен. Это часы. Я забыл положить их обратно в морозилку.

Пробую снова. *Орбита пояса астероидов форма.* Поисковик думает. Чувствую, как он думает. Маленькое колёсико крутится, крутится, и клянусь, у этого колёсика есть лицо, и у лица милая улыбка, и за улыбкой кто-то читает то, что я набрал, вслух комнате, полной других людей в костюмах. Потом: *Вот что ищут такие, как вы!* — и выдаёт мне девять страниц одних и тех же четырёх вещей. Видео, где мужик в солнечных очках говорит *космос потрясающий*. Мультик про камень с глазами. Карточку товара. Вкладку **НаПотом™ Лунное Молочко — Спи, как будто за тобой не наблюдают.** Это настоящий слоган. Они его сказали. Вслух. Публично. И люди покупают.

Реклама таблеток начинается на втором обновлении.

К четвёртому на каждой странице вверху баннер, бледно-голубой полумесяц со сладким спящим лицом, и голос, который сам выходит из динамика телефона тоном очень доброй тётушки: *Проблемы с ночным небом? Вы не одиноки.* Затем более мелкими буквами, которые я перечитываю трижды, чтобы убедиться: *Лунное Молочко: потому что на некоторые вещи лучше не смотреть.*

Швыряю телефон на диван.

Дело не в паранойе. Я зарабатываю на жизнь тем, что вожу пад-тай под дождём; я точно знаю, насколько всем на меня насрать. Дело в том, что сама природа этого конкретного пиздеца, его форма, она какая-то такая *аккуратная*. Меня не блокируют. Тебя вообще не блокируют. Блок — стена, а стена показывает, где дверь. Это *течение*. Вся сеть просто чуть-чуть, ласково кренится, куда бы я ни пытался податься, пока я не обнаруживаю, что смотрю туда, куда ей надо, и думаю, что сам до этого дошёл.

Кто-то придумал, как прятать вещь, засыпая её другими вещами. И у меня есть догадка, кто.

Делаю то, что Марта велела перед уходом. Она ушла в окно вскоре после ухода Лили, бросив «так, у меня тут дело», и напоследок оглянулась на меня через плечо с прижатыми ушами, как медсестра, уходящая из послеоперационной палаты: *Никаких телефонов. Не для этого. Всё, что ищешь на штуке, где стоит твоё имя, они прочитают. Иди туда, где есть пол.*

Туда, где есть пол.

Прачечная «Садз-О-Матик» на первом этаже Блока 9, между букмекерской и лавкой, которая торгует чехлами для телефонов и, кажется, больше ничем. Работает круглосуточно и, в том или ином виде, с тех времён, когда меня ещё на свете не было. Восемь стиральных

машин, восемь сушилок и стена пластиковых стульев, прикрученных к полу в ряд. Запах горячего хлопка, мокрой собаки и старых монет. Табличка на стене, заламинированная: НЕ СЛОНЯТЬСЯ. Другая, другим почерком, снизу: МЫ ВСЕ СЛОНЯЕМСЯ. Третья: ВАШИ НОСКИ В НЕБЕЗОПАСНОСТИ. Странным образом чувствую себя как дома.

Одиннадцать вечера, здесь почти пусто. Старик спит на стуле с пакетом на коленях. Девчонка лет девятнадцати в пуховике загружает машину с мрачной сосредоточенностью человека, растящего ребёнка. У неё включена лента, в каждом ухе по белому наушнику, она улыбается в пустоту, и когда я вхожу, говорит, не поднимая глаз: «Новый старт, новый ты». Я говорю: «Ага, спасибо». Не знаю почему. Это как сказать *будьте здоровы.*

В заднем углу, под сломанными часами, за автоматом, который продаёт кондиционер для белья и, по причинам, которые никто никогда не мог установить, сигареты поштучно, стоит компьютер.

Я забыл, что он там. Монитор размером с чемодан и клавиатура без буквы Е, прикручены к стене под печатной табличкой: ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ — 50 ПЕНСОВ — 15 МИН. Монетоприёмник забит пухом. Жёлтая наклейка на боку: *Собственность «Садз-О-Матик Лтд». Никакого Галпа. Никаких приложений. Никаких куки. (Не тех.)* Кто-то — и клянусь, я узнаю почерк, я видел его на сотне полей — дописал шариковой ручкой снизу: *Уровень пола, как требуется. М.*

Стою и смотрю на него какое-то время.

Потом опускаю пятьдесят пенсов и сажусь.

Толстый, уродливый старый браузер, серый и квадратный, с крошечным вращающимся глобусом в углу. Никаких спящих лиц. Никаких таблеток. Никаких крутящихся колёсиков. Когда я набираю в окошке *пояс астероидов*, он делает потрясающую, чудесную вещь, о которой я совсем забыл, что машина на такое способна. Он *затыкается*. Выдаёт мне список.

Список. Синим. Слова в списке значат ровно то, что значат.

Читаю долго.

Большую часть я знал — так, как знаешь очертания страны, в которой не бывал. Пояс астероидов. Между Марсом и Юпитером. Полоса камня и льда, миллионы обломков, ходят и ходят по кругу. Это проходят в школе по картинке на стене и забывают ещё до звонка. Но теперь я читаю медленно, шевеля губами, как человек, читающий письмо от умершего родственника, и читаю, что это *кольцо*. Вот до чего я раньше не доходил. Это не куча. Не облако. Это трек. Одна плоская широкая полоса, идущая вокруг Солнца ровно по той орбите, где — прокручиваю — где старая модель поставила бы планету.

У них уже триста лет есть про это правило. У него есть имя. Это закономерность в промежутках между планетами, маленькая кривая арифметика, и она работает для всех: Меркурий, Венера, Земля, Марс, а потом говорит: *следующая — здесь*, и потом сразу Юпитер, и это *здесь* — пояс. Зазор, в котором только гравий. Кто-то когда-то написал, что это похоже на место за столом с отодвинутым стулом.

Кликаю на картинки.

Должен сказать, я кликаю на картинки так, как ковыряют болячку. Картинка за картинкой за картинкой. Диаграммы NASA, школьные диаграммы, цветная из журнала, чёрная с белыми точками, как заставка с ночным небом. Круг серых камней вокруг Солнца, Марс внутри, Юпитер снаружи. Пояс — не кольцо *вокруг* чего-то. Это кольцо *в линии планет*. Если нарисовать орбиты планет как девять тонких обручей, один в другом, пояс — не россыпь поперёк зазора. Это обруч. Это *в точности* обруч. Можно положить на этот трек планету размером с планету, и она сядет в него, как шарик в желобок.

Смотрю на это долго.

И сижу я в прачечной с холодным кофе у локтя, в тридцати метрах под куполом камеры, и слышу, совершенно отчётливо, моим собственным голосом, в моей собственной голове, голос кота: *Мазок. Россыпь камней в десять миллионов миль шириной, по форме той дорожки, по которой она ходила.*

Она.

Сушилка за спиной заканчивает с лязгом, и девчонка в пуховике подходит, открывает, вытаскивает огромную охапку тёплых вещей, прижимает к лицу и говорит тонким надтреснутым голосом, абсолютно своим: «Ох, как *хорошо*».

Меня это ошарашивает. Её тоже. Она стоит секунду, уткнувшись лицом в бельё, с широко раскрытыми глазами, как будто её застали в душе. Потом белый наушник жужжит у неё в ухе, и лицо разглаживается, как ткань, которую натянули.

— Тепло — это настроение, — любезно говорит она и уносит бельё.

Поворачиваюсь к экрану. В углу моего мозга сидит румяный мужик, шотландец в светоотражающей куртке, который теперь довольно хорошо представляет, с какой скоростью человек может съехать с катушек. Велю ему сесть.

Ещё один поиск. Не собирался. Руки делают это сами, как ноги сами находят тропу в темноте.

Набираю, без клавиши Е, так что уходит минута: *фаэтон.*

Не знаю, откуда у меня это слово. Кажется, это что-то из машин. Вроде бы экипаж такой, конный, маленькая открытая коляска, — это первое, что выскакивает. Потом мальчишка, который угнал отцовскую колесницу, грек, не удержал коней и поджёг мир. Падает с неба. Сражён молнией. А потом — несколько строк ниже, не наверху, не в самой известной части — есть кое-что. Слово, которого я не видел. Теория. *Гипотеза Фаэтона.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.